

ЖЕНЩИНЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Анна Ахматова



Я научилась просто
тужро жить...

Борис Носик

Женщины Серебряного века

Борис Носик

**Анна Ахматова. Я научилась
просто, мудро жить...**

«Алисторус»

2015

Носик Б. М.

Анна Ахматова. Я научилась просто, мудро жить... /

Б. М. Носик — «Алисторус», 2015 — (Женщины Серебряного века)

«Вы знаете, что такое любовь? Настоящая любовь? Любили ли вы так неистово, что готовы были шагнуть в пламя преисподней? Я – да». С этих слов начинается знаменитая киноповесть, посвященная итальянскому художнику Амедео Модильяни. Так начиналась история мимолетной и трагической любви двух гениев начала века: Анны Ахматовой и Амедео Модильяни. Что общего у русской поэтессы и итальянского художника? Сама Анна Андреевна писала об этом романе так: «...все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной». Автор этой книги – Борис Михайлович Носик – первые десятилетия жизни провел в России, но вот уже много лет предпочитает жить во Франции. Он как никто другой смог понять невероятную историю любви Ахматовой и Модильяни. Именно ее автор посчитал основополагающей в биографии Анны Андреевны Ахматовой.

© Носик Б. М., 2015

© Алисторус, 2015

Содержание

Кратчайшее вступление	6
Она – до встречи с ним	7
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Борис Носик
Анна Ахматова. Я научилась
просто, мудро жить...

© Носик Б.М., 2015

© ООО «ТД «Алгоритм», 2015

Кратчайшее вступление

Прежде чем вывести героев этой любовной истории на ночную улицу Бонапарта в Париже, на аллее Люксембургского сада или на юго-западную окраину французской столицы близ Версальских ворот, то бишь Порт де Версай, автор этой скромной и в высшей степени документальной (насколько вообще могут поддаваться строгому документальному учету события ушедшей жизни и растаявшие в воздухе любви) книжечки хотел бы, несмотря на предвидимые им заранее протесты ученых-ахматологов и модильяниеведов, в чьи угодья так бесцеремонно вторгается автор, познакомить своего читателя с самими героями, с их окружением и, так сказать, с интерьером, а также с тем, что в их жизни предшествовало парижской их встрече. Затем в обществе тех, кому книжка к этому времени еще не наскучит, автор проследит за последовавшим после той встречи дальнейшим течением жизни своих героев, а может, и дальнейшим развитием этой, казалось бы, завершенной любви. Последнее представляется нелишним, тем более, что любовная история у всякого из нас (а у творческих людей – с особенной остротой: вспомните только историю любви Цветаевой к неведомому Рильке или мало-знакомому Пастернаку) может продолжаться и за рамками реальной встречи, которой в иных случаях и не бывает вовсе. В данном же случае встреча была, и притом была такой неизбежной, а жизнь их после тех упоительных летних недель повернулась так круто... Это более или менее известно, хотя связной ее – да и его – биографии пока не написано. И уж вовсе никто не писал о том перевороте, который произвела в ее – да и в его – жизни их весенняя встреча в Париже, вернее, обе весенние встречи – весной 1910 и 1911; никто не писал, как пережила их она, что они значили для нее самой, для ее стихов, а также для его скульптур и рисунков... До самой ее смерти висел в изголовье у героини нашего рассказа, в любом интерьере торжественно-прекрасный, почтительно-благопристойный, всему ее окружению и сонму поклонников известный рисунок Модильяни, вдохновлявший царственные легенды и искусствovedческие штудии. Но вот недавно, совсем недавно, всплыли вдруг на венецианской выставке и, главное, были опознаны другие, совсем иные, тоже прекрасные, но такие юные, лихие, нагие, вполне беспутные (для замужней-то дамы, для царскосельской-то барышни в разгаре свадебного путешествия, для слепневской молодой барыни, а потом – для великой поэтессы, совети диссидентской России, для оксфордской докторши «Honoris Causa», для кого там еще?) рисунки, которые лишь таились до времени, лишь притворялись потерянными... Что до автора этой книжечки, то он, углубившись в альбомы Модильяни, и сам, без помощи нелюбопытных докторов искусствovedческих и филологических наук, обнаружил... Впрочем, обо всем этом в свой черед, а пока – о героях нашей документальной повести; и сначала, конечно, о ней...

Она – до встречи с ним

Она родилась у моря, в Одессе. Крошечная дачка Саракини стояла над морем, близ почты и обрыва на Большом Фонтане, на 11-й станции. Через год после рождения девочки ее отец, отставной флотский инженер-механик Андрей Антонович Горенко, получил какую-то службу у Великого князя Алексея Михайловича, и семья переехала в Царское Село, летнюю резиденцию царской семьи под Петербургом. «Вот оно! – воскликнут наблюдательные ахматологи – Царское Село – это важно». «Да, но и Одесса, и море – это тоже не пройдет безнаказанным», – возразит автор этой книжечки. Не смотрите, что младенцу всего год или месяц, или даже останется сколько-то месяцев до выхода на сушу, – в эти месяцы, равные последующим десятилетиям, все, что происходит с младенчиком, и все, что творится вокруг, оставляет глубокий след в его душе. Так учил хитроумный Фрейд, и у нас больше нет оснований ему не верить. Ну, а если под боком у него «море Черное, точно чаша с вином» – такое и вообще на всю жизнь. К тому же удивительная Одесса рядом, город южан, в крови у которых – коктейль почище даже тогдашнего петербургского: там ведь тоже, наряду с кровью пленительной русской речи, чуть не у каждого поэта текла в жилах какая-нибудь экзотическая кровь. Так что, если кто удивится, откуда у девочки (ее называли Анечка) такая экзотическая, уж никак не северная краса, брякнем смело – из Одессы, там на каждом шагу были такие дивы: итальянки, гречанки, украинки, ах, украинки, турчанки, цыганки, еврейки, молдаванки. Сама поэтесса сообщила однажды – впрочем, уже в период позднего мифотворчества, что Анной ее называли в честь бабушки, у которой родная мать, стало быть, прабабушка поэтессы, была татарская княжна Ахматова, по прямой линии от Чингисхана. Это уж вполне по-царскосельски: даже Романовы любили напоминать, что ведут род от татарского мирзы Чета, да и прочие русские аристократы гордились кровью татарских князей. Отсюда и псевдоним будущей поэтессы, и рассказ о том, что этого татарского предка, хана Ахмата, убил ночью в его шатре подосланный русский убийца, чем и кончилось на Руси татарское иго. Так красиво, что и проверять подлинность истории не хочется; хотя наивная разоблачительница-подруга Н. Мандельштам напоминает, что уже была тогда некая переводчица Ахматова, не от нее ли псевдоним? Прабабушка Анны вышла замуж за знатного симбирского помещика. Дед с другой стороны, Стогов, был небогатым помещиком Можайского уезда, что в Подмоскowie: Стоговы были сосланы из Великого Новгорода, где были много богаче, за бунт при Марфе Посаднице. Об украинских кровях разговору, похоже, вообще не было: в миф они, видно, не укладывались. Так или иначе, обе почтенные линии предков обнищали, и толк от них был невелик, а вот Черное море, доставшееся в наследство – оно сопровождало ее от рождения до самого замужества. Взглянув на юной Аннушки удивительный нерусский профиль, не всякий вспоминал татарских ханов (немало, кстати, нашим нынешним барышням оставивших черт их несравненной прелести), белесых новгородских славянок из-под Киева или битву на льду Чудского озера, а вот древний-то черноморский берег, корабли из близкого Средиземноморья, Большой Фонтан, Севастополь, Херсонес Таврический – как было не вспомнить?



Анна Горенко.

«Я получила прозвище “дикая девочка”, потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма, и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень».

(Анна Ахматова, 1890 г.)

Итак, искристую зиму, томительную и праздничную северную весну и великолепную багряную осень девочка проводила в Царском, где были маленькие лошадки, экипажи, гвардейцы, нарядные дамы; а лето, начиная с семилетнего возраста, – близ Севастополя, на берегу бухты, в пленительном Новом Херсонесе. Там она бродила одна по пляжу, вольно плавала в море,

загорала дочерна, дружила с рыбаками и заслужила у местных прозвище «дикая девочка»: так сообщает она, вполне пристойно, но, может, даже и «дикая девчонка». Кое-что о вольном этом приморском житье можно найти в ранней ее поэме – конечно, уже должным образом стилизованной и звучащей довольно-таки по-блоковски:

Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это – счастье.
В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга...

Легко представить себе ее – босоногую, длинноногую, худющую, загорелую дочерна, в желтом платье, там, где «бухты изрезали низкий берег». Позднее откопали там из-под земли чудный греческий Херсонес у Прекрасной Гавани, и сколько ни повидал я за свою заграничную жизнь этих белых колонн у синего моря – и в Агридженто, и в Пестуме, на Кипре, на Кало Колонне, – того Херсонеса, Таврического, ввек не забыть. Может, и тогда, в начале века, какие-то обломки валялись на берегу, когда бродила тут дерзкая, загорелая девчонка, уже мечтавшая о любви. В поэме, написанной десятилетие спустя, есть прекрасный принц или король, как всегда, сероглазый, конечно; но и рыбаки там тоже есть – очень, впрочем, благовоспитанные рыбаки:

Я с рыбаками дружбу водила.
Под опрокинутой лодкой часто
Во время ливня с ними сидела,
Про море слушала, запоминала,
Каждому слову тайно веря.
И очень ко мне рыбаки привыкли.
Если меня на пристани нету,
Старший за мною слал девчонку,
И та кричала: «Наши вернулись!
Нынче мы камбалу жарить будем».

Поэма датирована 1914 годом, ее одобрил сам вздыхавший по юной поэтессе сероглазый король Блок, так что разница между царскосельской девочкой и кричащей «нынче мы камбалу жарить будем» девчонкой тут должным образом обозначена. Однако была ли она уже тогда очевидной, эта разница, когда она пряталась с рыбаками под лодкой во время ливня, на берегу? И не был ли одним из тогдашних принцев какой-нибудь красивый мальчик-рыбак, пропахший рыбой? Впрочем, может, и нет. Время пастушеских и рыбацких идиллий тогда уже минуло, а время нового смещения сословий и рас еще не наступило. Было время сероглазых королей. Все ли она рассказала в романтической поэме, что «запомнила чутким слухом»? И так ли еще по-детски невинна была ее тогдашняя девичья молитва? Сказать наверняка не берусь.

А вечером перед кроватью
Молилась темной иконке,
Чтоб град не побил черешен,
Чтоб крупная рыба ловилась,
И чтобы хитрый бродяга
Не заметил желтого платья.

Она писала эту поэму в зеленом, чопорном Слепневе, и в душе ее при этом, похоже, звучали божественные стихи Блока об Италии («с ней уходил я в море»). По ее признанию, поэма эта была для нее расставанием с детством, с былой безмятежностью и дерзостью, с той озорной приморской Аннушкой, которая, по свидетельству друзей, прорывалась в ней из-под спуда и десять, и тридцать, и даже пятьдесят лет спустя. Что же до 1910 года, к которому мы клоним, не торопясь, наш рассказ, в тот год черноморской Аннушке оживать в ней и вовсе было несложно – это для нашей истории очень важно.

Итак, в летние месяцы – море, а в остальные девять – совершенно особый мир Царского Села, еще более царственно-церемонного, чем императорская столица, Петербург. Ибо маленький поселок жил двором и им по большей части кормился, так что лихая крымская девочка всему, что положено здесь было уметь – и держаться с достоинством, и быть гордой и неприступной, и складывать ручки, и кланяться, «учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы», – всему научилась, «что полагалось в то время благовоспитанной барышне». И конечно, «говела на Страстной в гимназической церкви», не более того. Французский она, по ее рассказам, выучила, «слушая, как учительница занималась со старшими детьми». Старшие – это сестра Инна, на три года ее старше, и брат Андрей, старше ее на шесть лет; оба почти ею не упоминаются, оба умерли молодыми. Андрей покончил с собой. Был еще брат Виктор, убитый большевиками... Она, впрочем, редко ведь упоминала о семье, и это, мне кажется, дурной знак. Нет, она «не ненавидела» брата, «не предала» сестры, но и спаянной семьи, похоже, не было. Изредка отец брал ее «с собой в оперу...». При этом отца она не любила. А попробуйте, отыщите у нее упоминание о смерти матери в 1930-м! Чему научила ее мать в этом неудобном и недружном доме, из которого сбежал отец? Как вообще готовили «благовоспитанных барышень» к той жизни, которую так скучно называют «реальной»? Ахматова писала в старости, что представление о счастливом и несчастливом детстве – «вздор»... Бедная Анечка... С детства она любила стихи, и мать по ее просьбе бесчисленное число раз читала ей те, что помнила наизусть, – громогласного Державина и трогательно-напевного Некрасова («Савраска увяз в половине сугроба...»). А лет с одиннадцати она уже и сама, как многие русские подростки, писала стихи, много-много стихов, погонные метры стихов. Она вспоминает, что отец прочел ее стихи, когда ей было одиннадцать, и отчего-то назвал ее «декадентской поэтессой». Он был, впрочем, лишь морской механик и не обязан был разбираться в литературных течениях лучше, чем кумир левой французской интеллигенции тов. Жданов, сказавший почти те же слова сорок лет спустя. Спутником ее отроческих лет, опять же, как у многих русских подростков, становится Пушкин: однако в еще большей степени – и потому, что она сама так много писала, и потому, что бродила ежедневно по его следам. Пушкин ведь для пишущего или читающего русского – это не просто «солнце русской поэзии»: он еще и мерило вкуса и темперамента, он камертон, он исповедник, он соучастник, он вечный спутник на прогулках; для пишущего он – еще и спасение в мучительные дни и годы, когда не пишется: читай Пушкина или про Пушкина, говори, что занят «пушкиноведением» – сколько их на Руси, «пушкинистов»...

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Это из ранних ее стихов: она рано научилась передавать эти шорохи, шелесты и плески царскосельского парка, где в холодную воду глядятся беломраморные статуи, пророчащие и славу и смерть («Холодный, белый, подожди,/ Я тоже мраморною стану»), где так неизбежно

присутствие смуглого отрока, а на скамейке – то здесь, то там – его забытая треуголка и потрепанный том Парни (сама-то она читала уже Верлена, тоже по-французски), где даже на ветвях висят лиры. Здесь нельзя не писать, и она, конечно же, пишет стихи, эта высокая, тоненькая, очень странная девочка – без конца пишет и уже, конечно, мечтает о славе. Однажды летом, когда они жили на даче под Одессой, в Люстдорфе, мать проездом показала ей крошечную дачку, где она, Анна, увидела свет, и девочка сразу сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Мать огорчилась: такая гордыня, такой моветон. Вспоминая об этом полвека спустя, седая и грузная поэтесса, будто снова устыдившись моветона, приписала: «Это была просто глупая шутка». Да, конечно: но только не всякому подростку такое сразу придет в голову, хотя кто ж из российских подростков не пишет стихи? До славы тогда уже, впрочем, оставалось совсем немного – каких-нибудь лет семь, а до первой публикации – и того меньше...



Семья Горенко: Инна Эразмовна Горенко, Андрей Антонович Горенко, Рика (на руках), Инна, Анна, Андрей. Около 1894 г.

В Царском Селе они жили на углу Широкой улицы и Безымянного переуллка, рядом с железнодорожной станцией, в таинственном доме, где, по преданию, был когда-то заезжий двор или трактир («Я обрывала в моей желтой комнате обои (слой за слоем), и самый последний был диковинный – ярко-красный. Вот эти обои были в том трактире сто лет назад, – думала я»). Комнатка у нее была аскетическая, неуютная, «суровая» и вдобавок, как вы поняли, с рваными обоями. Через полвека Ахматова остро помнила запахи Павловского вокзала, запахи детства – «дым от допотопного паровозика... натертый паркет... земляника в вокзальном мага-

зине... резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске... сигары и жирная пища из ресторана...». Аннушка ходила в Царскосельскую гимназию (через сорок лет: «в Ташкенте... в тифозном бреду все время слушала, как стучат мои каблуки по царскосельскому Гостиному двору – это я иду в гимназию»). Училась она сперва очень средне, потом получше, но всегда без особого интереса; интересы уже были свои: необъяснимая магия стиха, рифмы, смутные, тревожащие образы и, конечно, эта на долгие годы теперь неизбывная, напряженная или, как говорят, «сложная жизнь сердца» – романы, любви, любовное томление... Одним этого в жизни выпадает немного, другим в избытке, и разве это не важнее гимназии? Ее век и ее среда эти волшебные отношения между мужчиной и женщиной (прочие сочетания, кажется, в ее жизни большой роли не сыграли) ставили превыше всего на свете, а она – кто ж усомнится в этом при взгляде на ее портреты? – она просто рождена была для любви. Кроме великой тайны любви, были и другие тайны, к которым она приобщалась или надеялась приобщиться: даром, что ли, молодой муж назвал ее чуть позднее в знаменитых стихах колдуньей? Она и сама не раз говорила и писала, что она – ясновидящая, читает мысли, видит чужие сны, «чуёт воду», что она недаром родилась 23 июня, в древнюю Иванову ночь; все это колдовство было тоже очень в духе времени. Позднее в стихах она называла себя и русалкой, и китежанкой, и сомнамбулой, а полнолуние волновало ее еще в детстве. Царскосельская ее подруга Валерия Срезневская – в ту далекую пору еще Валечка Тюльпанова – вспоминала, как однажды в лунную ночь она увидела тоненькую девочку в белом платье на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! Она лунатик!»).

Валя вспоминала, как плавала и ныряла эта юная русалка: «...тонкая и гибкая, как ивовый пруттик, – с очень белой кожей – она (особенно в воде Царскосельской купальни) прекрасно плавала и ныряла, выучившись этому на Черном море... Она казалась русалкой, случайно заплывшей в темные неподвижные воды Царскосельских прудов».

Итак, маленькая колдунья и русалка бродит по Царскому Селу, «пленительному городу загадок», где «зеленое, сырое великолепие парков... ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки», где старый вокзал, великан кирасир на розвальнях, похоронные процессии невероятной пышности, в которых за гробом идут гвардейские офицеры, «всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами»...» – здесь уже, как видите, и Толстой присутствует, и ироническое отношение к красавцам гвардейцам...

Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт...

Царское Село – это был особый мир.

«Тут ходили по струнке», – вспоминала она. Даже петербуржцы отмечали особую выправку и стать обитателей Царского.

К.И. Чуковский разглядел их позднее в юной Ахматовой: «Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала себя с нарочитой чопорностью, как светская дама высокого тона, и тогда в ней чувствовался тот изысканный лоск, по которому мы, коренные петербургские жители, безошибочно узнавали людей, воспитанных Царским Селом...»

Стихи занимали ее все больше: «Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, – вспоминает она, – я была поражена и читала ее, забыв все на свете». Кто ей показал корректуру, она не пишет, но догадаться нетрудно – ее поклонник, соученик по Царскосельской гимназии и сосед Николай Гумилев. Он учился у Анненского, и сам тоже с самых ранних лет писал стихи. Иннокентий Анненский, замечательный поэт, по словам Гумилева, один «из последних царскосельских лебедей», этому странному гимназисту-переростку

покровительствовал. В 1903 году семья Гумилевых (обедневшая дворянская семья, отец – отставной корабельный врач) после нескольких лет, проведенных в Тифлисе, вернулась в Царское Село, и семнадцатилетний Гумилев снова поступил в Николаевскую Царскосельскую гимназию, директором которой был Иннокентий Анненский. Тогда-то влюбчивый юноша и увидел эту необычную девочку... Он подкарауливал ее в переулках, терпеливо сносил все насмешки, когда она шла с подругой, нарочно с ней разговаривая на немецком, которого он не знал. Но иногда ему удавалось одному проводить ее до дому от гимназии («В ремешках пенал и книги были...»), и они говорили о стихах. Он был влюблен, конечно, но было еще и другое. Она была равнодушна к нему, а значит, он должен был преодолеть ее равнодушие и добиться своего, добиться поставленной цели. Он всегда добивался цели, и если на сей раз он был не прав, кто упрекнет его – он был так жестоко наказан... Несколько нескладно, но вполне убедительно излагает эту историю школьная подруга Анны: «Настойчивость Коли в отношении завоевания близости Ани была, по-моему, одной из излюбленных мужских черт Гумилева. Он как-то во всем... в стремлении к «Леванту», к войне, к солдатской карьере – все это черты его отчасти воображаемого, отчасти врожденного его «я»».

В гимназии Гумилев успевал не блестяще, но это вряд ли его беспокоило. С восьми лет он писал стихи и всегда считал это самым важным занятием в жизни. Еще за год до окончания гимназии, девятнадцати лет от роду (это было в 1905-м), он издал свой первый сборник стихов – «Путь конквистадоров». Книга была замечена: сам знаменитый вождь символистов Валерий Брюсов, отметив в рецензии, что книга полна «перепевов и подражаний» (в том числе и подражаний самому Брюсову), выразил надежду, что победы и завоевания «нового конквистадора» – впереди. Девятнадцатилетний конквистадор ринулся в бой – сделал предложение юной Анечке Горенко – и получил первый отказ... Не слишком трудно предположить, что между «конквистадорством» юного Гумилева и ее заранее ожидаемым отказом существует довольно тесная связь. Что ж, пусть он нехорош собой, пусть он не успевает по всем предметам сразу, пусть он не нравится ей... он станет великим поэтом, он покорит мир; в те годы поэт был богом – вон рыжекудрый бог Бальмонт, боги Брюсов и Блок, даже Северянин – и тот бог... Более того, Николай будет воином, путешественником, покорителем земель, бестрепетным и безжалостным конквистадором – он, этот шепелявый бесцветный второгодник Коля Гумилев, он всем докажет... Докажет, что он не такой, как все, что он выше других, он над людьми, ибо он – поэт, он из тех, о ком говорит Заратустра... Самое замечательное, что он всего и добился позднее, почти всего: стал поэтом, стал путешественником, стал певцом мужества, воевал, был на войне героем, он женился все-таки на Аннушке Горенко, он стал покорителем множества девичьих сердец, он даже погиб геройски – от рук самых страшных палачей нашего века... Все как будто сбылось, судьба словно бы отступила перед напором его воли. И все же произошло это не так, как ожидалось, – и стихи оказались не совсем те, и любовь, и женитьба... Его поражения начались с нее, а может, и кончились тоже ею, ее холодностью, ее безразличием... Впрочем, это все случилось потом, а пока, напомним, на дворе еще 1905-й, тревожный 1905-й год...



*И ослепительно стройна,
Поджав незябнувшие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.*

*Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.*

(Анна Ахматова «Царскосельская статуя», 1916 г.)

Не только для смятенной России он был тревожным – поражение в войне, революция, но и для странной, безалаберной семьи Горенко это был тяжкий год. Сперва Андрей Горенко потерял работу у князя, потом он ушел из семьи. Мать с детьми уехала в Крым, в Евпаторию, где Анна на дому проходила гимназический курс, грезилась о любви, «тосковала по Царскому и писала великое множество беспомощных стихов». Стихи, вероятно, тоже были о любви, как и положено в эту «пору любви и грусти нежной». Иногда, в период неудач и разочарований, она вдруг решала, что не будет раздумывать, а просто выйдет замуж, как все, выйдет за хорошего человека – вон и Гумилев сватается – и «будет век ему верна». Ведь жизнь-то проходит: вот уже шестнадцать, семнадцать... В семнадцать она, вероятно, отправила и Гумилеву (а не только другу С. фон Штейну) это многообещающее послание:

Я умею любить.
Умею покорной и нежною быть.

Она была искренней. Только что она знала о себе в семнадцать? Переписка ее с Гумилевым возобновилась...

В 1907-м она уехала в Киев и там закончила последний класс Фундуклеевской гимназии. Потом поступила там же на юридический факультет Высших женских курсов: «Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, – вспоминает она, – я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела». Да и чем могут привлечь тайны судебного крюкотворства, когда тебе семнадцать, когда жизнь томительно-прекрасна, мучительно и полна собственных тайн, из тех, что напрасно так снисходительно называют «девичьими»?

Остались воспоминания киевской приятельницы В.А.Беер о том, как она случайно увидела Аню той самой весной 1907-го года в храме Святой Софии:

«Налево, в темном приделе, вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно, тонкая, стройная, напряженная. Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она ничего не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит... Я выхожу из церкви. Горенко остается и сливается со старинным храмом... Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну, о которой говорить не стоит».

О чем «говорить не стоит»? О чем молилась тоненькая глазастая Аннушка? О чем просила Господа? Или, может, она замаливала грех – такое с ней и позже случалось, но какой грех сейчас, в восемнадцать?.. Известно, впрочем, что она была именно в ту пору влюблена в одного человека (в письмах она называет его то В., то В.Г. – Кутузов), а он то ли уже был женат, то ли как раз намеревался жениться, но на другой. Чем лечатся от такого горя, известно: я вот тоже возьму и выйду замуж за другого, Ему назло, и счастливой буду – Ему назло. На всем протяжении несчастной своей любви Аннушка переписывалась с мужем сестры С.В. Штейном, который был знаком и часто виделся с «тем человеком»: таким образом ей удавалось хоть что-нибудь узнать о Нем, да и свои чувства излить тому, кто Его знает – может, что-нибудь даже Ему передадут. В феврале 1907-го года Аннушка написала С.Штейну: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба – быть его женой. Люблю ли я его, я не знаю, но кажется мне, что люблю...». И дальше – чужие, похоже, что брясовские, безжалостные и, увы, пророческие стихи:

...всем судило Неизбежное,
Как высший долг – быть палачом.

Бедный Гумилев! Еще неизвестно, любим ли он, но в жертвы он уже намечен. И похоже, самое важное в предстоящем замужестве – что скажет «тот человек», когда узнает. Ибо думает-то она по-прежнему о «том человеке». Вот еще отрывок из ее тогдашнего письма к С. Штейну, все о том же: «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной». Как точно отметил впоследствии по поводу этого письма петербургский литературовед, такие клятвы легче произносятся, чем исполняются. Впрочем, о том, что она за него «выходит», пока, может быть, не знает еще и сам Гумилев...

В том же письме она благодарит Штейна за присланную им по ее настоятельной просьбе фотографию «того человека» – Владимира Викторовича Голенищева-Кутузова, рассказывает, как она глядит без конца на эту долгожданную фотографию. Но и приезда Гумилева она ждет с нетерпением: «Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение... Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем

решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться...».

Однако Гумилев приезжает в 1908-м, сватается к ней и снова получает отказ. Ах, сердце девичье... Ей ведь всего 19 лет. И на расстоянии Николай ей, вероятно, милей, чем вблизи; так, кстати, бывало и позже.

А Гумилев на распутье. Гимназию он с грехом пополам окончил, но чем заняться дальше – вернее, чем, кроме стихов, он не знает. В конце концов он решает уехать за границу, в Париж (существовал в ту пору такой выход из всех ситуаций) – слушать лекции в Сорбонне. Часто ли он бывал на лекциях в Сорбонне, сказать не берусь – и Г. Струве, и С.Маковский отмечают, что французский он так толком и не выучил, по-русски писал с ошибками, прочих же языков он не знал вовсе, но в Париже и помимо Сорбонны было куда пойти. Русская речь звучала тогда в самых модных кафе, русские художники уже наводняли «Ротонду», и вообще русских было великое множество: жила в Париже и пореволюционная, еще после первой революции, вполне благополучная, не бедствующая эмиграция, были здесь Бальмонт и Волошин, журчала русская речь и в салоне Кругликовой. Гумилев был неистовым поклонником французской поэзии, «парнасцев», и в первую очередь – Теофиля Готье. Он вдруг начинает издавать в Париже на свои деньги журнал «Сириус», в котором под разнообразными псевдонимами печатает собственные стихи и даже стихи Анны Андреевны Горенко. Узнав об этом, Анна пишет С. Штейну: «Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастий наш Микола перенес, и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!». Очень юное и кокетливое письмо. Отчего ж не посмеяться беззлобно над влюбленным вздыхателем, на которого нашло затмение? А все же это приводит ее в «необычайно веселое настроение», да и первая публикация – где-то еще там, в Париже вдобавок – не может пишущую барышню вовсе уж не затронуть. Она без конца иронизирует по поводу своих тогдашних стихов, но однажды доверительно пишет Штейну, что ведь мы-то с вами, Сережа, – настоящие поэты... И это, конечно, искреннее ее убеждение... А отверженный конквистадор Гумилев тем временем, отложив денег из того, что ему высылал отец, тайком отправляется в первое свое африканское путешествие. Это пока известно не всем, но он-то про себя знает, что он путешественник, он покоритель Леванта, воин, бесстрашный романтик, ницшеанец, искатель разнообразных приключений, в том числе и любовных. Пока это маска, и, вероятно, за всем этим, пусть даже и не всегда осознанно, стоит главная любовная неудача его жизни, но маска – а маски, как и недостижимый пьедестал Поэта-сверхчеловека, были в то время в большой моде – все прочней прирастает к лицу, становится то ли второй, то ли уже первой его натурой. В 1908-м году, еще находясь в Париже, он печатает свою вторую книгу стихов – «Романтические цветы». В этой книге, как и в первой, очень подражательной, наряду с конквистадорами, рыцарями и Люциферами были уже настоящие африканские львы, и даже был по-брюсовски изысканный жираф, принесший ему известность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.